

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

ГЛАВА 4

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ БАТАЛИИ

При поступлении в университет Вадим заполнил соответствующую анкету, в которой были следующие пункты:

“Участвовал ли в революционном движении и подвергался ли репрессиям за революционную деятельность до Октябрьской революции?”

Участвовал ли в партизанском движении и подпольной работе (как вступил, где и когда и выполняемая работа)?

Военная служба в старой армии с... по... последний высший чин в Красной гвардии с... по... в каких должностях.

Участвовал ли в боях во время гражданской или Отечественной войны?

Был ли в плену (где, когда, при каких обстоятельствах попал и когда освобожден из плена)?

Служил ли в войсках и учреждениях “белых” правительств?

Находился ли на территории, временно оккупированной немцами в период Отечественной войны?”

Даже теоретически к Вадиму мог бы иметь отношение лишь пункт о нахождении на оккупированной территории (его будущий однокашник по филфаку Пётр Палиевский был практически в этом же возрасте угнан в Германию и вернулся только после окончания войны). Все эти пункты Кожинов обозначил прочерком, а против пункта “служил ли в войсках и учреждениях “белых” правительств?”, видимо, уже в состоянии иронического раздражения, вывел слово “нет”.

На дневное обучение на филологическом факультете он поначалу не поступил.

Конкурс был – 8 человек на место. На вступительных экзаменах Вадим на “отлично” сдал иностранный язык, историю народов СССР и географию. Устный экзамен по литературе и русскому языку был сдан на четвёрку. А по сочинению была поставлена оценка “удовлетворительно”.

“СПРАВКА

Тов. Кожинову в приёме отказано за отсутствием мест.

Отв. Секретарь Приемной комиссии МГУ, канд. хим. наук Хомченко”.

Но вместо Хомченко подпись поставил декан химического факультета Баландин. И он же, видимо, после индивидуального разговора с Вадимом,

Продолжение. Начало в № 1-4 за 2019 год.

написал письмо, адресованное лично члену-корреспонденту АН СССР В. И. Спицыну:

“Настоящим прошу о приёме в МГУ на филологический факультет Кожина В. В., который сдал приёмные испытания и факультетской комиссией был принят, но не утвержден Центральной Комиссией.

В. В. Кожин — очень способный и многообещающий молодой человек, и я уверен, что он будет отлично учиться в университете. В средней школе № 16 г. Москвы он был первым учеником по литературе, и его отметки (4 и 3) при испытании по этому предмету объясняются тем, что на него сильно подействовала внезапная смерть его товарища. Остальные отметки у него отличные.

Прилагаю отзыв директора школы № 16, очень высоко характеризующий т. Кожина.

Академик А. Баландин, декан химического факультета МГУ”.

В результате Вадим был зачислен “в экстернат филологического факультета” (то есть на подготовительное отделение). И лишь в порядке исключения с 25 февраля 1950 года стал студентом 1-го курса филфака (отделение русского языка и литературы) “без стипендии и общежития”.

О каком его умершем товарище шла речь — установить пока не удалось.

“... Я не был пионером, — вспоминал Вадим Валерианович, — не очень меня туда звали. К тому же это были военные годы с эвакуацией, переездами. Но и в комсомол я в школе не вступил — по причине аполитичности. Потом это сказало при поступлении на филологический факультет МГУ — мне занизили оценку и приняли только на заочное отделение. На очном я оказался после сданных на “отлично” экзаменов за первый курс”.

“Утверждая, что оценка за моё сочинение была искусственно занижена, — писал он в одной из своих последних книг “Россия. Век XX. 1939–1964”, — я исхожу из двух фактов. Во-первых, среди принятых тогда на факультет имелось всего лишь несколько “беспартийных” (то есть не состоящих в ВКП(б) и ВЛКСМ), а во-вторых, я точно знаю о занижении оценки поступающему на факультет вместе со мной широко известному впоследствии деятелю литературы Станиславу Лесневскому, с которым мы подружились во время экзаменов. Его отец был репрессирован как “враг народа” в 1937 году, и чья-то бдительная рука выставила Станиславу “2” за сочинение, что означало отстранение от дальнейших экзаменов. Однако дерзкий юноша всё же явился на устный экзамен и блистательно сдал его. Восхищённый экзаменатор, впоследствии один из видных фольклористов, Пётр Дмитриевич Ухов (1914–1962) на свой страх и риск переправил незаслуженную “двойку” за сочинение на “четвёрку”, и сын “врага народа” Лесневский стал студентом”.

* * *

Чувства, бушевавшие студентов в ту эпоху, были крайне противоречивыми.

Михаил Петрович Лобанов вспоминал на склоне лет, как он, недавний фронтовик, “будучи студентом Московского университета, выходя из университетской библиотеки на Моховую и глядя на зубчатые стены Кремля, особенно в зимние метельные вечера, ...думал о таинственном Сталине, живущем, работающем за этими стенами, и чувствовал, что нахожусь в самом центре мира, куда сходятся токи истории”.

И это было общее ощущение тех лет, порождённое Великой Победой. Москва, в самом деле, воспринималась, как центр мира. В ней, действительно, сходились “токи истории”.

... Начало учёбы естественным образом совпало с бурными обсуждениями “черт современности” в студенческом кругу.

Понятно, что филологи не могли не обсуждать “Постановление о журналах “Звезда” и “Ленинград”, ждановский доклад на ту же тему, да и массу других тем — политических и литературных — тех лет. В общественной жизни тех лет кипели нешуточные страсти, разгорались форменные сражения, что, естественно, отражалось и на студенческой аудитории.

Анатолий Ланщиков, чьи статьи будут “наводить шороху” в 1960–1980-е годы, писал в одной из них, отвечая ещё одному участнику критических баталий тех лет, Феликсу Кузнецову (в 1940-е — студенту журфака), который в

начале 1960-х стал утверждать, что в университет его поколение поступало, “не умея мыслить”, но “крепко веруя”, ибо им “всё было ясно, и будущее виделось... в образе бесконечных голубых параллелей, уходящих в века, вперёд...” И отвечал Ланщиков не без сдержанного (думаю, еле сдерживаемого) негодования:

“Юридический факультет, скажем, не мог отнестись безразлично к теории Вышинского “о презумпции виновности в пролетарском государстве”. Биологи были хорошо наслышаны об августовской сессии ВАСХНИЛ. Физиков обязали не признавать кибернетику и т. д. Неужели все эти “мероприятия” не наводили ни на какие мысли? Неужели никто не думал? А может, боялись думать? Может быть. Только здесь не нужно злоупотреблять словом “все”. Кто-то не думал. Кто-то боялся думать, но думал. Кто-то просто думал. А кто-то просто боялся. Верно и то, что в это время кое-кто занимался строительством “голубых параллелей”. Но и здесь следует говорить: занимались столь безмятежным делом тоже не все”.

Физики, кроме всего прочего, не могли не читать в 1946 году разгромной работы Л. Ландау, В. Гинзбурга, М. Леонтовича, В. Фока о создателе современной теории плазмы Власове, причём научно этот разгром был совершенно не обоснован... Но перейдём всё же к филологии.

Кожин относился к думающим. Придя на факультет, по его собственному признанию, аполитичным, критически настроенным ко многим проявлениям современности в идеологии и культуре, он, естественно, не мог не включиться в общий процесс чтения, размышления над многочисленными громоподобными статьями, которыми изобилвала та же “Литературная газета”.

“Сила нашей литературы”, – так бескомпромиссно называлась рецензия Зиновия Паперного на сборник статей журнала “Звезда” под общим названием “Против безыдейности в литературе”, вышедший в “Советском писателе”. Цитаты из Герцена и Максима Горького, восторженные похвалы статьям А. Еголина, Л. Плоткина, Н. Маслина подводили к самой сути:

“Характеристике антинародного творчества Ахматовой и Зощенко посвящены статьи И. Сергиевского и Л. Плоткина. Используя определение, данное тов. А. А. Ждановым поэзии А. Ахматовой, И. Сергиевский раскрывает её социальные истоки, связь с буржуазно-дворянской литературой периода реакции. Вопрос об истоках “творчества” Зощенко приводит нас к началу 20-х годов, когда ещё продолжали действовать остатки буржуазно-дворянских литературных школ. Л. Плоткин убедительно показывает связь произведений Зощенко с творчеством Замятина, одного из наиболее законченных выразителей реакционных тенденций в литературе, непосредственного учителя “Серапионовых братьев”...

В докладах о журналах “Звезда” и “Ленинград” тов. А. А. Жданов указывает, что “ленинизм” воплотил в себе все лучшие традиции русских революционеров-демократов XIX века”. Статья Б. Мейлаха “Борьба Ленина с идеологией “Вех” показывает эту преемственную связь между идейной борьбой Ленина против реакционной идеологии и деятельностью его предшественников – революционеров-демократов Белинского, Чернышевского, Добролюбова.

Сборник статей журнала “Звезда” “Против безыдейности в литературе” – очень своевременная и нужная книга”.

Паперный (из молодых, да ранний) был в те годы лихим бойцом на литературно-критической ниве, но бойцом из тех, что чутко ловят ноздрями меняющийся воздух конъюнктуры. Сергиевский, Плоткин, Ермилов были испытанными, битыми, прокалёнными в идеологических схватках мастодонтами. А Зиновий только начинал оттачивать клыки.

Впрочем, об этом чуть ниже.

...Вадим пришёл на факультет, как он сам позже писал, “в сущности, без политических убеждений”. И тут же столкнулся с носителями этих самых “убеждений”, что называется, лицом к лицу. Учась в “экстернате”, он приходил в качестве вольнослушателя на занятия дневного отделения в группу, где выделялся своим ораторским даром воинствующий комсомолец и общественник Игорь Виноградов (с этим человеком, в будущем известным литературным критиком, произойдёт занятная эволюция в последующие десятилетия). Избранный комсоргом группы, Игорь произнёс пламенную речь, цитируя боевые строчки Маяковского:

*Я хочу,
 чтоб в конце работы
 запирал мои губы
 замком.*

*Я хочу,
 чтоб к штыку
 приравняли перо,
 С чугуном чтоб
 и с выделкой стали
 о работе стихов,
 от Политбюро
 чтобы делал
 доклады Сталин.*

Тогда для Вадима это было поистине в новинку. Он после собрания на полном серьёзе спросил своего нового знакомого: неужто тот думает, что Маяковский писал всё это “от души”, а не за деньги и почести? Виноградов с жаром начал убеждать собеседника, что стихи эти совершенно искренние, что писались они с абсолютной верой в грядущий коммунизм.

“И подобное, — вспоминал Вадим Валерианович, — так сказать, “советско-революционное” сознание, вернее, даже энтузиазм был, безусловно, присущ большинству тогдашних студентов. Меня особенно впечатляло, что и сын репрессированного Станислав Лесневский был полон этим энтузиазмом и, в частности, весь пронизан стихами Маяковского. И поскольку я пришёл в университет без какого-либо политико-идеологического “багажа”, этот своего рода вакуум в моём сознании был, должен признаться, быстро, за несколько месяцев заполнен тем, что заполняло умы и души окружающих меня молодых людей. . .”

А “умы и души” тогдашних молодых людей занимала тогда грядущая “третья мировая война”, “революционная война”, долженствующая закончиться победой социализма во всём мире. Казалось (именно — казалось!), что это устремление “синхронно” с государственной волей “верхов”. Так, Сталин в своём выступлении 9 февраля 1945 года, уже обойдясь без слов “патриотизм”, “Россия”, “русский”, подчёркивал, что победил именно “советский строй”, “Коммунистическая партия” и “Красная армия”. . . Сам Сталин, жёсткий прагматик до мозга костей, чутко улавливавший ветры времени, пытался найти в новой эпохе необходимый баланс между русским патриотизмом и “пролетарским интернационализмом”. В расчёте на население стран Восточной Европы, вошедших в орбиту влияния СССР, “что, — писал Вадим Валерианович в книге “Россия. Век XX. 1939–1964”, — в частности, выразилось в возрождении (разумеется, частичном и переосмысленном) наследия российского славянофильства XIX века”, — начал (ещё во время войны) издаваться журнал “Славяне”, был восстановлен Институт славяноведения Академии наук, где “так или иначе оживала славянофильская традиция”. И никакой речи, естественно, не шло ни о “революционной войне”, ни о “революционных традициях”. Наоборот, создавалось впечатление наступающей “реакции”.

Впрочем, вид, этой “реакции” был чрезвычайно загадочным, если судить по газетным материалам того времени.

В 1947 году началась борьба с “антипатриотизмом”. И протекала она следующим образом: Александр Фадеев на пленуме правления Союза писателей в июне месяце объявил родоначальником “низкопоклонства перед Западом” великого русского филолога Александра Веселовского. В кампанию против учёного, скончавшегося в 1906 году (!), тут же включились исполняющий обязанности директора “Пушкинского дома” Лев Плоткин в “Литературной газете” и заместитель директора Института мировой литературы Валерий Кирпотин (Рабинович) в журнале “Октябрь”.

Поначалу эта милая “шарашка” встретила достойный отпор: не промолчал автор вышедшей годом ранее книги “А. Н. Веселовский и русская литература” академик В. Ф. Шишмарёв, ответивший Кирпотину в “Октябре” в конце того же года (естественно предположить, что Плоткин и Кирпотин “расчищали

место”, ибо кампания против Веселовского автоматически была по Шишмарёву: само по себе “низкопоклонство” было в данном случае чрезвычайно удобно истолковано “в своих интересах”). . . Наступил январь 1948-го – и в “Октябре” появилась статья Кирпотина под весьма длинными и угрожающим заголовком: “О низкопоклонстве перед капиталистическим Западом, об Александре Веселовском и его последователях и о самом главном”. “Самое главное” заключалось в том, что такого “низкопоклонника”, как Шишмарёв, невозможно было держать на столь ответственном посту директора Института мировой литературы. Шишмарёв был снят, а 20 марта 1948 года в “Литературной газете” появился анонимный материал “Против космополитизма в науке о литературе”, весьма “расширивший” площадь “обстрела” и обозначивший новых “фигурантов”, среди которых уже числился, очевидно ставший “обузой”... Л. Плоткин!

Начало, естественно, с Веселовского, литература под пером которого якобы “теряет свой живой, человеческий, общественный, свой национальный характер. В его работах она предстаёт перед нами вне времени и пространства. . . Взгляд учёного-космополита воспаряет кверху, он скользит над жизнью, он витает в мире мёртвых абстракций, условных схем, неизменных, устойчивых сюжетов. Холодными равнодушными глазами окидывает он бессмертные художественные творения. . .” и т. д. и т. п.

Но это лишь прелюдия. Основное действие начинается через несколько абзацев.

“Ошибка дискуссии об А. Н. Веселовском, затеянной журналом “Октябрь”, заключалась, как совершенно правильно указывает газета “Культура и жизнь”, в том, что вместо прямого и непримиримого разоблачения буржуазно-либеральной концепции А. Веселовского участники спора толковали о его “противоречивости” и выясняли, в какой степени он “полезен” и в какой “устарел”, в чём он якобы приближался к марксизму и в чём с ним расходился. Столь же двусмысленный и половинчатый характер носила критика А. Веселовского в статье Л. Плоткина, опубликованной в “Литературной газете”...

Вредная и лженаучная концепция А. Веселовского является ничем иным, как одной из разновидностей буржуазного космополитизма. Именно отсюда идут у последователей Веселовского и отрицание своеобразия могучей русской национальной культуры, и рабское низкопоклонство перед иностранщиной, и бессмысленная “охота за параллелями”, формальными соответствиями в литературе разных народов. Перед нами статья Б. Томашевского “Проза Лермонтова и западноевропейская литературная традиция. . .”

... Мелочное, крохоборческое сличение отдельных фраз и оборотов, выяснение, откуда взял или мог взять русский писатель ту или иную мысль, у кого он её позаимствовал. . . – это, по уверению космополитов, и есть подлинное литературоведение. . .”

Без выводов такое сочинение оставлять нельзя. И вывод последовал:

“Нужно серьёзно, критически просмотреть работы наших литературоведов. Немало ещё низкопоклонства, угодничества перед буржуазной культурой Запада, немало ещё лженаучных космополитических “концепций” встречается в “Учёных записках”, в “Научных вестниках” университетов и институтов, в отдельных томах “Литературного наследия”, в историко-литературных сборниках, альманахах, журналах. Немало лженаучных теориек преподносятся с кафедр нашим студентам и аспирантам. . .”

(Упомянутая статья в газете “Культура и жизнь” – это разгромное сочинение, посвящённое как раз работам Института мировой литературы, в частности, в ней упоминалась диссертация ещё не ведомого Кожинкову Михаила Михайловича Бахтина, посвящённая анализу творчества Франсуа Рабле).

Поле дальнейшей “деятельности” было обозначено.

Кирпотин, проваренный в котлах многочисленных литературных “чисток”, сам автор фундаментальной анонимной статьи 1937 года в “Новом мире”, направленной против тогдашнего редактора журнала Ивана Гронского, – тот получил после неё 18 лет заключения – прекрасно понимал, что подбираются к нему самому. И усилил свой личный нажим на “конкурентов” под ширмой “борьбы с космополитизмом”. Не помогло. Подобрались.

А дальше было ещё интереснее.

25 февраля в “Литературной газете” появилась статья Иоганна Альтмана – будущей “жертвы” антикосмополитической кампании. И эта “жертва”

вдохновенно глумилась над книгой выдающегося русского театрального деятеля Василия Сахновского “Мысли о режиссуре” с соответствующими политическими выводами.

“...Задача режиссёров, театроведов и педагогов ГИТИС заключалась, прежде всего, в том, чтобы дать правильную оценку глубоко ошибочной, вредной книге. Этого, к сожалению, не произошло <...> в выступлениях режиссёров и театроведов не было серьёзной попытки проанализировать “Мысли о режиссуре” с принципиальных позиций марксистско-ленинской эстетики. За исключением А. Мацкина и Е. Холодова, никто не постарался вскрыть порочную методологию режиссёра, историка, театроведа, автора многих работ В. Г. Сахновского... Книга “Мысли о режиссуре” – характерный пример рабского подражательства, экзальтированного и буквально самозабвенного преклонения перед реакционной, формалистской эстетикой буржуазного Запада... Многие наши театроведы... пробавляются эклектической окрошкой из декадентских театральных теорий...”

Пройдёт немного времени – и Холодов (Меерович), и Мацкин станут сами объектом обвинений в космополитизме. А ещё через некоторое время и они оба, и Альтман войдут в историю под видом “невинных жертв антисемитской кампании”. О том, что они творили на журнальных и газетных страницах сами, никто вспоминать не пожелает.

В том же номере “Литературной газеты” объявился и уже упоминавшийся Зиновий Паперный со статьёй “Покончить с буржуазными пережитками в литературоведении”. Но это было только начало. Через несколько месяцев в статье “Перечитывая Белинского” он, цитируя слова критика о “беспаспортных бродягах в человечестве”, прямо указал на Валерия Кирпотина и Льва Субоцкого.

Это – пока ещё “исключение из правила”... “Я, – вспоминал Кожин, – ...ещё в последних классах школы достаточно внимательно следил за ходом дискуссий и “кампаний” в сфере литературы и культуры... и могу свидетельствовать, что вплоть до 1949 года нападкам подвергались *главным образом* деятели науки и культуры русского происхождения – уже упомянутый академик В. Ф. Шишмарёв, академики В. В. Виноградов, А. С. Орлов, действительный член Украинской Академии наук А. И. Бедецкий, профессора В. А. Десницкий, И. П. Ерёмин, Г. Н. Поспелов, И. Н. Розанов, А. Н. Соколов и многие другие...”

Александр Каменский и Дмитрий Сарабьянов (будущие “вольнодумные искусствоведы”) уничтожали в той же “Литературной газете” в статье “В плену буржуазных теорий” замечательного исследователя русской и мировой живописи Михаила Алпатова (будучи, кстати говоря, его учениками). А. Гурвич громил в “Новом мире” пьесу Н. Погодина, отнюдь не отличающуюся серьёзными художественными достоинствами. Другое дело, что Гурвич (ещё в 1930-е годы отличившийся в травле Михаила Булгакова и Андрея Платонова) нашёл и здесь выражения, весьма характерные для типичного русофоба:

“Понятно, что самые отсталые, отягощённые предрассудками советские люди должны были найти для себя в страшных испытаниях войны доступную для них моральную опору... Но воспеть этот древний слепой инстинкт самосохранения как бессмертную силу духа народного – значит повернуть время вспять... Непостижимая тайна русской народной души предстаёт перед нами как *идея в штанах*... Идея эта – исконный, вечный, непоколебимый дух русского человека, а штаны – старые казацкие штаны с лампасами...”

(Эту фразеологию мы ещё успели застать на рубеже 1980–1990-х годов. Ничего нового здесь не придумывалось, “старое грозное оружие” вынималось из нафталина, чистилось и пускалось в ход...).

Но дальше всё развивалось в соответствии с неумолимым законом “взаимопожирания”, когда “разогревшиеся” на деятелях русской науки и культуры гонители, преимущественно еврейской национальности, начали сводить счёты друг с другом.

Паперный печатает статью “Существо бездушное” – о Субоцком-космополите. А Субоцкий, ещё недавно – секретарь Правления Союза писателей, – на заседании, посвящённом его исключению из партии, произносит поистине бессмертный монолог:

– Я заявляю! И прошу занести это в протокол! Трибуналы революции... Трибуналы войны... Я отправил на расстрел больше нечисти, чем сидит вас сейчас в этом зале! Понятно?!

“Нечисть” лихие бойцы продолжали расстреливать и далее — на газетных страницах, естественно, апеллируя к власти и карательным органам. Читатели этих статей (особенно молодые читатели) могли с лёгкостью впасть в ступор, видя, как “борцы с космополитизмом” разделяются с шедеврами русской классической литературы и тяготеющими к классике современными авторами.

“Против идеализации реакционных взглядов Достоевского” — так называлась статья старого идеологического “кавалериста” Давида Заславского в “Культуре и жизни”. Не проходит и года, как на белый свет появляется брошюра ещё одного “бойца” с богатой биографией (судьба-индейка через десяток с лишним лет сведёт его с Кожинным при весьма занятых обстоятельствах) — Владимира Ермилова почти под тем же заголовком (кто у кого списывал?): “Против реакционных идей в творчестве Достоевского: Стенограмма публичной лекции”.

А в конце 1947 — начале 1948 года в “Литературной газете”, “Комсомольской правде”, “Новом мире” разворачивается коллективное избивание замечательной прозаической книги Александра Твардовского “Родина и чужбина”, Твардовского, чей “Василий Тёркин” был в каждой городской квартире и во многих деревенских избах, и который, казалось бы, обладал абсолютным защитным иммунитетом, будучи любимцем и народа, и власти. В этом “действе” принимали участие Борис Рюриков, Ермилов и ещё “недоразгромленный” Субоцкий. Тогда же в Союзе писателей состоялось обсуждение этой книги, на котором особенно лютовал будущий автор “твардовского” “Нового мира” Валентин Овечкин.

В это же время на литературной “поляне” разыгрывалось самое настоящее сражение, в котором каждая сторона рассчитывала если не на физическое уничтожение противника, то, как минимум, на его вечное исчезновение “с поля боя”. Если внутривластные столкновения совершались за кулисами, тайно от всех, то писательские ристалища на авансцене смотрелись куда как эффектно!

Объединение критиков при Всероссийском театральном обществе, пользуясь поддержкой руководителя комиссии по драматургии Александра Крона (Крейна), заместителя генерального секретаря Союза писателей Константина Симонова и заведующего Отделом пропаганды Дмитрия Шепилова, фактически царил на страницах “Культуры и жизни”, “Известий”, “Советского искусства”, “Нового мира”, “Театра”... Имена этих деятелей войдут в историю сначала как “разоблаченных космополитов”, потом — как “неправедно ошельмованных”. Но факт остаётся фактом: речь тогда шла о доминировании в литературной политике определённой группы, которая не терпела никаких конкурентов на своём пути. Юзовский, Борщаговский, Малюгин, Мацкин, Гурвич, Альтман, используя поддержку “сильных мира сего”, бросили вызов самому генеральному секретарю Союза советских писателей Александру Фадееву и сгруппировавшимся вокруг него Анатолию Сурову, Михаилу Бубеннову, Аркадию Первенцеву, Борису Ромашову, Анатолию Софронову... Сначала на стол Шепилова легла докладная записка, в которой подверглись разному пьесы Софронова, Вирты, Ромашова и Сурова, а затем, в конце ноября 1948 года в Москве под эгидой Всероссийского театрального общества, Комитета по делам искусств и комиссии по драматургии ССП состоялась творческая конференция, посвящённая спектаклям, поставленным московскими театрами к 31-й годовщине Октябрьской революции. Доклад, в значительной степени напоминавший пространственный донос на конкурентов, делал Александр Борщаговский.

“Центром нападения” этой “команды” должен был стать, по замыслу групповщиков от драматургии и театральной критики и поддерживавшего их руководства Агитпропа, Константин Симонов, которого готовили на место Фадеева. Если бы эта операция удалась, к руководству в Союзе писателей пришла бы однородная спящая группа, а Агитпроп во главе с Шепиловым значительно укрепил бы свои позиции. Однако Фадеев провёл блестящую контратаку, сначала организовав донос на имя Сталина некоей Анны Бегичевой, писавшей, что “в искусстве действуют враги” и называвшей этих “врагов” поимённо, а затем совместно с А. Софроновым подготовив злободневные доклады на XXII пленуме ССП. Демарш Симонова не удался — “космополиты” потерпели сокрушительное поражение и были обречены в течение нескольких лет влачить жалкое литературное существование. Не подлежит,

впрочем, сомнению, что на такую же, если не на ещё горшую участь они обрекли бы своих противников, если бы вышли из этой схватки победителями.

Через полвека при описании этих событий многими авторами делался упор на “национальном” аспекте разразившегося конфликта, а точнее, на “антисемитских тенденциях”, проявленных группой, объединившейся вокруг Фадеева и тем самым потравившей “антисемиту” Сталину... Особое внимание национальной подоплёке происходившего уделялось в книгах А. Борщаговского (который, кстати говоря, в 1947 году в “Литературной газете” в статье с говорящим названием “Мутные воды” уничтожил роман талантливого украинского прозаика Юрия Яновского: “И самый этот вымысел, и националистические ошибки, тяготение к буржуазному объективизму, пристрастие к архаике, этнографизму и неразлучной с ними стилизации свидетельствуют о наличии серьёзных идейных пороков в творчестве Ю. Яновского”)... Подобная подоплёка, действительно, имела место. Прежде всего, надо сказать о демонстративной спекуляции на своём национальном происхождении группы писателей, театральных работников, кинематографистов еврейской национальности. Это была своего рода реакция на поворот внутренней политики в сторону державных традиций в середине 1930-х годов, чего эти “интернационалисты” не могли принять, как говорится, на дух.

“Двурушник Борщаговский”, “Враг советской культуры Гурвич” — эти заголовки в газете “Советское искусство” вполне соответствовали тональности, которую задавали на газетных страницах и сам Гурвич, и Борщаговский. При этом никого из жестоко раскритикованных не то что не репрессировали (исключение составил лишь Иоганн Альтман, и его арест был связан отнюдь не с “космополитизмом”), но даже не исключили из Союза писателей (не в пример Михаилу Зощенко и Анне Ахматовой), не изъяли из продажи их книг. Более того, уже в начале 1950-1951 годов они как ни в чём не бывало вернулись на газетные и журнальные страницы, и тот же Гурвич стал “своим автором” в “Новом мире”.

Александр Нилин свидетельствовал в своих воспоминаниях, как его отец, известный прозаик Павел Нилин, возвращавшийся в 1942 году из Ташкента в Москву, высказал в вагоне поезда в разговоре со своим собеседником — каким-то мелким кинодеятелем — недоумение по поводу того, что молодые, здоровые евреи сплошь и рядом приезжают в Ташкент и обосновываются там преимущественно на хозяйственных должностях. Сказано это было без какой бы то ни было попытки унизить собеседника и безо всяких широковещательных выводов — Нилин был, что называется, человеком, лишённым “национальных предрассудков”. Когда же писатель появился на “Мосфильме”, где должен был рассматриваться его сценарий, там его встретил Алексей Каплер и произнёс многозначительную фразу: “Теперь вы узнаете, что такое евреи, когда они действуют сообща”. После этого ни о какой работе для Нилина на “Мосфильме” речи, естественно, не заходило.

Годы войны показали этим людям чрезвычайно благоприятными для восстановления “утраченных позиций”, тем более, что теперь можно было открыто говорить о себе как о представителях пострадавшего народа, ввиду чего любой человек, высказавший сомнение в справедливости подобного подхода, тут же клеймился ярлыком “фашиста” и “антисемита”. Расчёт этих людей был, в принципе, верным. Они не учли только одного: кардинальных изменений во внешней политике.

И в это же время, время, о котором через полвека будут трубить из всех труб как об “эпохе лютого антисемитизма”, Сталинские премии в области литературы и искусства вручались Агнии Барто, Михаилу Вольпину, Евгению Долматовскому, Эммануилу Казакевичу, Льву Кассилю, Семёну Кирсанову, Самуилу Маршаку, Льву Никулину, Анатолию Рыбакову, Александру Чаковскому, Льву Шейнину, Якову Эльсбергу, Роману Кармену, Юлию Райзману, Александру Столперу, Александру Файнциммеру, Фридриху Эрмлеру и изме с ними.

* * *

Изучая историю России советского периода через много лет, Вадим Валерианович пришёл к непреложному выводу: так называемая “борьба с низкопоклонством” после Великой Отечественной была необходимой и во многом

оправданной акцией. Другое дело – кто конкретно осуществлял эту операцию и какими средствами.

Конечно, тогда, наблюдая на сцене Малого театра и МХАТа пьесы Анатолия Софронова и Анатолия Сурова, каждый более или менее культурный человек не мог не прийти к выводу о полной ничтожности внутренней театральной и литературной политики и, соответственно, задаться вопросом: чему же, собственно говоря, посвящена эта “борьба” с так называемым “низкопоклонством”... У любого, кто трепетно относился к русской классической поэзии, ничего, кроме омерзения, не могла вызвать опубликованная в “Литературной газете” статья тогдашнего рядового преподавателя литературы Александра Дементьева “Серьёзные ошибки “Библиотеки поэта””, где громились литераторы, включившие в однотомники Тютчева и Есенина “стихотворения, идейно и художественно неприемлемые”, а также те, которые “добились издания в “Библиотеке поэта” сборников стихотворений таких представителей реакционного лагеря в поэзии, как Шевырёв, Павлова, Бенедиктов, Случевский, Сологуб, Белый, Хлебников”.

В идеологии и культуре проводилась линия, которая только дискредитировала национальную русскую идею, что, в конечном счёте, сыграло свою роковую роль.

Мгновенно переориентировался Симонов. “Успехи советской драматургии, – писал он, – достигнутые ею вопреки клеветническим проискам космополитов, антипатриотов в театральной критике, особенно радостны и заслуживают самого пристального внимания... “Зелёная улица” Сурова посвящена борьбе наших новаторов на транспорте с предельщиками, консерваторами, людьми, успокоившимися на достигнутом и потому отставшими... В отлично написанном центральном образе пьесы – образе академика Рубцова – Сурову удалось показать передового человека... Это один из интереснейших характеров, созданных в советской драматургии за последние годы...” И, читая его статью в “Новом мире”, громящую уже упоминавшееся сочинение Гурвича о пьесе Погодина “Лодочница” (разделанной “под орех”, кстати сказать, четырьмя годами ранее в ещё не перелицованной “Звезде” в статье Павла Громова) нельзя было не задаться вопросами, которыми Кожинов поделился с читателями через несколько десятилетий, уже рассматривая 1940-е как и историю: “. . . А что, если “клевета” содержится уже в самих пьесах? Что, если Россия в них действительно лишена идеала и самодовольна?.. Что, если невольная, так сказать, “злая насмешка”, объективный комизм присутствуют уже в самом образе героя пьесы, который берётся – без необходимого овладения наукой и техникой – переиграть Америку и “перелбрасывать” принцип производства на десять лет вперёд?..” Тем более, что сам же Симонов назвал пьесу Погодина “Лодочница” “неудачной”... “И если героями этой пьесы в самом деле движет “слепой инстинкт самосохранения” (цитата из Гурвича. – С. К.), не следовало бы искать, так сказать, корень зла и в авторе пьес, а не только в её критике? Правда, критик совершенно напрасно резюмировал, что “воспеть этот слепой инстинкт самосохранения – значит повернуть время вспять”. Как бы далеко мы ни обращались вспять, в прошлое великой русской литературы – к боевым одам Державина и Ломоносова, глубже, к повестям Смутного времени, к сказаниям о монгольском нашествии, наконец, к воинским эпизодам “Повести временных лет”... – нигде мы не обнаружим никаких следов воспевания “слепого инстинкта самосохранения”. Повсюду открывается перед нами вполне “зрячий”, осознанный и с течением времени всё обогащающийся и возвышающийся пафос подлинного патриотизма”.

Кожинов, в данном случае, был, на мой взгляд, чрезмерно деликатен. Он (и это было совершенно правильно) не давал овладеть собой даже праведной негодующей эмоции – он разбирался в сути дела. И всё же он не мог не понимать: Гурвич тогда сам прекрасно знал историю вопроса. Но будучи абсолютным ненавистником исторической России и её традиционной культуры, подбирая самые оскорбительные выражения и определения, чтобы окружающим (в первую очередь, единомышленникам) было ясно: дело тут не в Погодине и не в его “Лодочнице”.

Конечно, у завязтого театрала, ценителя классической драматургии, каким Кожинов был в годы своей учёбы в МГУ, ничего, кроме отвращения, не могла вызвать ни “Лодочница”, ни “Зелёная улица”, ни “Великая сила”... Вадим ещё школьником присутствовал на классических спектаклях МХАТа,

об одном из которых – “Мёртвые души” – он вспоминал спустя много лет: “Одним из больших событий моей духовной жизни был... спектакль, который я видел ещё подростком в Художественном театре 1944 года. Он стал для меня своего рода противоядием при позднейших столкновениях с убогими толкованиями “Мёртвых душ” как всего лишь “картинки” дурных нравов. Во мне жили образы, созданные под руководством Станиславского такими выращенными им же мастерами, как Белокуров, Ливанов, Грибов, и всё равно продолжал чувствовать и осмыслять стихию гоголевской поэмы – дикую, подчас страшную, но внутренне насквозь пронизанную жизненной мощью и порывом, который вдруг открыто вырывается в мчащей Чичикова тройке, – ту стихию, которая походя разрушила дьявольские планы Чичикова – этого нового Наполеона, вознамерившегося завоевать Россию рублём...”

В его архиве сохранился листок, на котором прилежно выведен список просмотренных спектаклей за годы студенчества в разных театрах:

“ГАБТ. (Большой). “Евгений Онегин”, “Князь Игорь”, “Золушка” (Прокофьев), “Алые паруса” (балет).

МХАТ. “Мёртвые души”, “Пиквикский клуб”, “Вишнёвый сад”.

Малый. “Русский вопрос” (Симонов), “Великая сила” (Ромашов), “Пигмалион” (Шоу), “Бесприданница”, “Ревизор”, “Горе от ума”, “Голос Америки”.

Камерный. “Без вины виноватые”, “Адриенна Лекуврер” (Скриб) – конец Коонен.

ЦТКА. “Ночь ошибок” (англ.), “Учитель танцев” (Лопе), “Давным-давно” (А. Гладков), “Доходное место”.

Вахтангова. “Соломенная шляпка” (Эжен Лабиш), “Заговор обречённых”.

ТЮЗ. “Сказка о правде”.

Ромэн. “Грушенька” (Лесков).

Станиславского. “Лола” (балет). “Штраусиана” (балет). “Царь Кощей” (опера). “Перикола” (опера). “Нищий студент” (опера). “Любовь Яровая” (опера).

Сатиры. “Женитьба Белугина”.

Драмы (Таганка). “Генерал Брусиллов”.

Транспорта. “Принцесса цирка” (Кальман), “Зелёная улица” Сурова.

Гастрольный. “Соперники” (Шеридан).

Белорусский. “Ромео и Джульетта”.

Л. Комсомола. “Сирано де Бержерак”. “Живой труп”.

Драмы (Герцена). “Девушка с кувшином” (Лопе де Вега”).

Список, естественно, неполный, но дающий отчётливое представление о театральных интересах молодого человека.

Но в университетских стенах – чем дальше, тем отчётливее – в нём начали вызревать совершенно новые настроения.

В 1988 году Кожин, вспоминая события сорокалетней давности, писал о начале своей студенческой жизни:

“... Я пришёл в университет, будучи переполнен своего рода “чисто эстетическим” мироощущением. Я жил тогда художественными и духовными ценностями пушкинской и тючевско-фетовской поры, а также не имевшей “официального” признания поэзией начала XX века, прежде всего, символистской. Можно с полным основанием сказать, что я находился “вне политики”, даже не был членом ВЛКСМ и стал им лишь в 1950 году, двадцати лет от роду.

Но общая атмосфера в университете (не “официальная”, а именно общая, захватывающая всех) была такова, что почти невозможно было не проникнуться господствующим идеологическим воодушевлением. Кое-кому это может показаться странным, но среди моих тогдашних сотоварищей были и дети репрессированных “врагов народа”, которые с полной искренностью разделяли этот общий пафос (Вадим Валерианович, очевидно, в первую очередь, имел здесь в виду Георгия Гачева и Станислава Лесневского. – С. К.). Правда, были немногие отдельные студенты, выросшие в таких семьях и в такой среде, которая сумела воспитать в них решительное недоверие к тогдашней политической действительности или даже прямое её неприятие. Но их в самом деле было очень и очень немного, и они, понятно, молчали: об их настроенности можно было только смутно догадываться.

Скажу со всей откровенностью, что в университете я довольно быстро стал, если угодно, искренним, убеждённым “сталинистом”. Это отнюдь не означало бездумного приятия всего того, что я видел, слышал, знал. Напротив,

очень многие конкретные явления жизни и литературы раздражали или возмущали. Но я, как и подавляющее большинство, полагал, что они представляют собой либо уродливые “отклонения” от главной, верховной линии (отклонения, в которых Сталин никак не повинен), либо пока ещё не преодоленные беды и пороки прошлого. Общее представление было тогда таким: есть великий народ и великий вождь, ведущий его в прекрасное будущее, а где-то “между” ними гнездятся пока ещё очень многочисленные неразоблаченные и недовоспитанные ничтожества либо злодеи, с которыми надо вести долгую и упорную борьбу.

Это представление лежало в основе и всей тогдашней литературы: в данном отношении, строго говоря, не было очевидного различия между популярными в то время произведениями, скажем, Бабаевского и Леонова, Грибачёва и Твардовского, Чаковского и Эренбурга, Рыбакова и Катаева и т. п.; все эти писатели к тому же были увенчаны званиями лауреатов Сталинской премии.

...Надеюсь, и так ясно, что юношами, вступавшими в “идеологическую” жизнь в конце 1940-х годов, как правило, овладевал “культ Сталина”.

И от этого не были свободны ни я, ни И. Виноградов, ни подавляющее большинство наших сотоварищей, учившихся в конце 1940-х – начале 1950-х годов на филологическом факультете университета. . .

Словом, если говорить по крайней мере о людях молодого тогда поколения, о них, по сути дела, нельзя судить в зависимости от их отношения к Сталину. Но это отношение – что очень важно – было, так сказать, “надмирным”, а каждый из нас непосредственно сталкивался с вполне конкретными земными явлениями. И вот с этой точки зрения люди и тогда достаточно резко различались. . .”

Это писалось в эпоху крайне обострившегося противостояния между политиками, литераторами и вообще людьми различных профессий. Вадим Валерианович и здесь постарался по возможности “смягчить” тональность своих слов (что было не так-то легко!) в ситуации, когда “отношение к Сталину” квалифицировалось как своего рода “опознавательный знак”, говорящий о том, стоит ли вообще с данным человеком иметь дело. . . Потому некоторые существенные акценты он, видимо, не счёл нужным прояснять.

А существенно здесь следующее: возраст от 17 до 23-24 лет (пора студенчества) – чрезвычайно благодатный во многих отношениях. Человек только-только вступает в жизнь и сразу погружается в атмосферу, в которой сталкиваются, кипят, бурлят различные взгляды, мнения, страсти. . . Он исполнен молодого самомнения, уверенности в непреложности своего призвания и в то же время чрезвычайно податлив различным тенденциям эпохи. Он, как губка, впитывает в себя разнородную информацию, многочисленные эмоциональные послылы – всё, что окружает его в это время. Очень важен здесь точный выбор наставников, путеводителей – слишком многое в жизни зависит от этого выбора в дальнейшем. И перед Вадимом проблема выбора встала довольно быстро.

Первым его наставником стал Сергей Михайлович Бонди. Вадим Валерианович до конца жизни хранил конспекты его лекций и вспоминал отдельные выражения: “В чём задача литературоведа? Он должен положить руку на пульс произведения”. “Товарищи, мы не можем ни улучшить, ни ухудшить историю. Товарищ Сталин запретил нам это”. При чём тут товарищ Сталин – никто не спрашивал, но тонкий ход профессора со ссылкой на несуществующий запрет понимали все. . . Лекционный курс по первой трети XIX века Бонди закончить не сумел – в отведённое ему время он не всё ещё сказал о своём любимом Пушкине! И его лекции о пушкинской поэзии, о пушкинской эпохе стали для Вадима поистине путеводными.

Но общая атмосфера действовала неумолимо. И Вадим со всё большим вниманием вчитывался в столь нелюбимого доселе Маяковского, открывая в нём настоящую поэзию! Он уже не задавался вопросом – искренен ли был поэт, мечтавший, чтобы о качестве стихов делал доклад Сталин. . . Он читал лирику Маяковского, читал его поэмы, всё более и более проникаясь его ритмом, его гиперболами, его образной системой, не порывая при этом ни с Пушкиным, ни с Тютчевым, ни с полюбившимися поэтами “серебряного века”.

В студенческой тетради Вадима – краткий конспект “учения Марра о языке” соседствует с полюбившимися стихами, которые он выписывает для

себя: Саффо, Катулл, Анакреонт, Ивик... И после переписанных текстов – запись уже от себя:

“Когда я изучал историю античной культуры, это “золотое детство человечества”, я как-то сильно почувствовал весь гигантский размах Человека, музыка страшной и напряжённой силы сорвала меня с места. Я ощутил дыханье истории. Всё это страшно наивно, но я чувствую так. Это здорово. Какое счастье – жить и мыслить.

Жить и радостно, и горько – всё равно, только бы чувствовать, только бы мыслить, видеть красоту и силу жизни, слышать, осязать, обонять вкусы и запахи жизни. Человек – это самое большое чудо Вселенной. Да, всё это написано по-детски смешно, декларативно, подражательно, но ведь это я сам, своим слабым разумом, своей посредственной, может быть, душой, понял, почувствовал, и только сейчас. Жалко только, что нельзя всё выразить на бумаге так, чтобы у каждого читающего закружилась голова от чётких, сильных чувств и мыслей”.

После этой записи снова идут стихи: Александр Блок (“Я пригвождён к трактирной стойке...”, “Шли мы стезёю лазурною...”, “К Музе”, несколько строк из поэмы “Возмездие”), Михаил Кузмин (“Александрийские песни”), два стихотворения Константина Бальмонта и целые страницы, исписанные стихами Бориса Пастернака (очевидно, из “Избранных стихотворений и поэм” издания 1945 года): “Февраль. Достать чернил и плакать!..”, “С утра жара...”, несколько строчек из “Марбурга” и, видимо, полюбившиеся с первого чтения: “Лето”, “Сосны”, “На ранних поездах”, “Опять весна”, “Дрозды”, “Пространство спит, влюблённое в пространство...” А сразу после Пастернака – Маяковский. Его фотоизображение, вырезанное из газеты. Переписанные ответы Маяковского на записки, полученные на публичных выступлениях. И – целые куски из поэмы “Про это”.

Отдельный раздел тетради – “К 150-летию со дня рождения Пушкина”. Стихотворения, вклеенные в тетрадь, очевидно, вырезанные из дореволюционного издания, со старой орфографией, с подписью “Лучшие стихи”: “Пророк”, “Поэту”, “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...”, “Моя эпитафия”, “Поэт”, “Вахическая песня”, отрывок из “Вновь я посетил...”, “Стансы”, “26 мая 1828”, “Воспоминание”, отрывок из “19 октября 1825 г.”, “Возрождение”, “Фонтану Бахчисарайского дворца”, “Зимняя дорога”, “В альбом”, “Желание”, “Ночь”, “Ненастный день потух...”, “Пью за здоровье Мэри...”, “Погасло дневное светило...”, “К морю” и несколько эпиграмм.

И рядом – стихи современных поэтов Сергея Наровчатова, Николая Тихонова, Павла Шубина.

“Восемнадцать лет, – пишет Вадим. – Любимые поэты”. И далее следуют имена с датами жизни и смерти: А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, А. А. Блок, В. В. Маяковский, С. А. Есенин. В отдельный столбик выписываются “лучшие из современных”: К. Симонов, М. Алигер, А. Коваленков, П. Антокольский, М. Светлов, С. Щипачёв. Интересно, что страницами переписываемый Пастернак в “современных” здесь не числится.

Стихотворные подборки перемежаются вырезками из газеты “Московский университет”. Для начала идёт коротенькая заметка некоей Э. Лещинской:

“ЛИТЕРАТУРНАЯ ВСТРЕЧА

На филологическом факультете состоялся традиционный литературный “вторник” газеты “Комсомолия”, на котором старшекурсники встретились с молодыми поэтами-студентами 1 курса. На “вторнике” выступили студенты: Графский, Строганов, Краевский, Дубровин, Алфимов, Кожинов, Воробьёв, Старков, Левина”.

А далее следуют корреспонденции самого Вадима: “100 тысяч рублей экономики”, “Советской стране – прочную ткань”, “В Ботаническом саду”, “Исследования большого практического значения” (о лауреате Сталинской премии, профессоре МГУ Халиле Рахматуллине), “В нашем клубе”, “3-я научная студенческая конференция”, “25 лет со дня смерти Д. Благоева”... Моё внимание привлекла заметка от 13 мая 1949 года “Защита дипломных работ на Учёном совете МГУ”, где впервые мелькнула фамилия будущего близкого знакомого Вадима:

“9 мая состоялось открытое заседание Учёного совета МГУ... На заседании Учёного совета состоялась защита 9 лучших дипломных работ студентов

МГУ. Эти работы, заслужившие в этом году отличную оценку при защите на факультетах, посвящённых разнообразным актуальным темам...

Большое внимание привлекла дипломная работа студента-заочника биологического факультета В. Доброхвалова – “Очерк истории степного лесоведения в нашей стране”. Интересные вопросы затронуты в работах студентов гуманитарных факультетов – “Эстетические позиции Маяковского” (1921–1930 гг.) А. Синявского (филологический факультет), “СССР в борьбе с антисоветскими происками германского империализма в период Локарно (1925–1926 гг.)” А. Сучалкина (исторический факультет), “Правовой режим международных рек” В. Попкова (юридический факультет)...

Ректор МГУ академик А. Н. Несмеянов дал высокую оценку прослушанным работам, отметив их высокий идейный уровень и большое практическое значение”.

Андрей Синявский защищался у Виктора Дувакина. В скором времени и Кожинов придёт к этому преподавателю в семинар – изучать творчество В. В. Маяковского.

* * *

В стране в это время творились вещи, официально объясняемые и доказуемые, но с подтекстом, о котором, естественно, народ не имел никакого представления.

На авансцене – отмена карточной системы, ежегодное снижение цен, разрыв отношений с Югославией, прагматическая сдержанность во внешней политике, отказ от всяческих “революционных” жестов.

На авансцене – “холодная война”. “С лязгом и грохотом опустился над Россией железный занавес”, – писал Василий Розанов в 1917 году. Этот “железный занавес” возник спустя почти 30 лет в “фултонской речи” Уинстона Черчилля, “занавес”, призванный защитить Европу от “коммунистической агрессии”. Не исключено, что перекочевал этот термин в речь премьер-министра Великобритании стараниями советников-“кремленологов” (эта профессия стала активно развиваться именно после Второй мировой), хорошо знакомых с сочинениями русских эмигрантов.

На авансцене – “антикосмополитическая” кампания с постановлениями, обилием речей и газетных статей. Одновременно с этим ликвидируется Еврейский антифашистский комитет, во главе которого были давние сотрудники НКВД. “Один из тогдашних руководителей разведки П. А. Судоплатов, – писал Кожинов в 1990-е в книге “Россия. Век XX. 1939–1964”, – свидетельствовал, что ответственный секретарь ЕАК с 1945 года И. С. Фефер был “крупным агентом НКВД”. . . В беседе со мной, состоявшейся в начале 1990-х годов, Павел Анатольевич сказал, что С. М. Михоэлс был намного более важным, чем Фефер, агентом НКВД”. Эта акция была непосредственно связана с тем, что новообразовавшееся государство Израиль (созданное во многом благодаря Советскому Союзу) вышло из-под советского контроля и избрало американсионистскую ориентацию. Форпост на Ближнем Востоке был безвозвратно утрачен, что в связи с разгоравшейся “холодной войной” стало крупным стратегическим проигрышем Сталина.

А за кулисами. . . За кулисами разыгрывалась трагедия, имевшая громадные и поистине роковые последствия для страны. Раскручивалось так называемое “ленинградское дело”.

И началось оно, по сути, тогда, когда Жданов, спасая себя и своё партийное окружение, оглашал знаменитый доклад, дезавуируя всё историко-патриотическое направление, которое развернулось сразу после прорыва блокады на страницах “Звезды” и “Ленинграда”.

Интереснейший документ был опубликован в “Ленинграде” в начале 1944 года.

“О восстановлении прежних наименований некоторых улиц, проспектов, набережных и площадей города Ленинграда.

Решение исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся от 13.1.1944 г.

Ввиду того, что прежние наименования некоторых улиц, проспектов, набережных и площадей Ленинграда тесно связаны с историей и характерными особенностями города и прочно вошли в обиход населения, в силу чего лучше обеспечивают нормальные внутригородские связи, Исполнительный комитет Ленинградского городского совета депутатов трудящихся решает восстановить наименования следующих улиц, проспектов, набережных и площадей города:

Существующие наименования *Восстановленные наименования*

Проспект 25 Октября – Невский проспект
Улица 3 июля – Садовая улица
Проспект Красных Командиров – Измайловский проспект
Площадь Красных Командиров – Измайловская площадь
Площадь памяти Жертв Революции – Марсово поле
Площадь имени Воровского – Исаакиевская площадь
Площадь имени Плеханова – Казанская площадь
Проспект имени Володарского – Литейный проспект
Проспект имени Нахимсона – Владимирский проспект
Проспект Карла Либкнехта – Большой проспект
Улица имени Розы Люксембург – Введенская улица
Набережная имени Рошаля – Адмиралтейская набережная
Проспект имени Рошаля – Адмиралтейский проспект
Улица имени Слуцкого – Таврическая улица
Советский проспект – Суворовский проспект
Проспект Пролетарской Победы – Большой проспект
Проспект Мусоргского – Средний проспект
Проспект Железняка – Малый проспект
Площадь Урицкого – Дворцовая площадь
Набережная 9 января – Дворцовая набережная

**Председатель Исполнительного
комитета Ленинградского городского
совета депутатов трудящихся**

П. Попков

**Секретарь Исполнительного комитета
Ленинградского городского совета
депутатов трудящихся**

А. Бубнов”.

Что и говорить, документ по тем временам из ряда вон выходящий. Подобного не удостоился больше ни один из советских городов, улицы и площади которых ещё почти полвека украшали (а кое-где украшают и поныне) таблички с именами Володарского, Урицкого, Либкнехта, Люксембург и им подобных.

К тому времени выросли два поколения, воспитанные в “интернационалистическом” духе. Имена “пламенных революционеров” всё это время были неприкосновенны! Да что – прошло, казалось, немного времени с тех пор, как некий театровед В. Блюм вещал в популярной газете:

“Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой области у нас накопилось немало курьёзов. Ещё в прошлом году в Киеве стоял (а, может быть, скорее всего, и по сей день стоит) чугунный “святой” князь Владимир. В Москве напротив Мавзолея Ленина и не думают убираться восвояси “гражданин Минин и князь Пожарский” – представители боярско-торгового союза, заключённого 318 лет тому назад на предмет утешения крестьянской войны. . . Уцелел целый ряд монументов, при идеологической однозности не имеющих никакой художественной ценности или вовсе безобразных: ложноклассический мартосовский “Минин-Пожарский”, микешинская тумба Екатерина II, немало других истуканов, уцелевших по лицу СССР (если не ошибаюсь, в Новгороде как ни в чём не бывало стоит художественно и политически оскорбительный микешинский же памятник 1000-летию России) – все эти тонны цветного и чёрного металла давно просятся в утильсырьё. . .”

Подобные выступления уже не появлялись в печати после 1936 года. Но если говорить о подлинном повороте в сторону русской истории, русского патриотизма — перелом стал необратимым именно в годы войны.

А после прорыва блокады ленинградцы первыми (и единственными!) приступили к “уборке исторического мусора с площадей”. И если “всякая революция... всегда начинается с разрушения памятников” (как вещал Блюм), то можно было сделать однозначный вывод: в городе началась русская контрреволюция — “контрреволюция сверху”.

Зрелый Кожин назвал бы этот процесс **“реставрацией”**...

Революционные, “интернационалистические” традиции сдавались Ленинградским горсоветом в архив! Ленинград утверждал статус русского города, в котором связь времён, разрушенная в 1917-м, восстанавливалась зримо и отчетливо. Всем было ясно — речь идёт не просто о смене табличек.

Это постановление было делом рук ленинградцев. Это была их собственная инициатива — ни Сталин, ни ЦК, ни его Политбюро не имели к ней никакого отношения. Имея “наверху” мощную поддержку в лице Жданова и Кузнецова, ленинградская партийная организация не то, чтобы позволила себе не считаться с мнением других высокопоставленных лиц в государстве, но полагала, что восстанавливает справедливость по отношению к своему родному городу, причём делает это в русле общепатриотической государственной идеологической линии.

За эту дерзость пришлось заплатить слишком дорогой ценой. И не только за эту.

(Продолжение следует)